

Не знаешь — то ли улыбнуться, то ли опечалиться: чем неувереннее время, тем решительнее его *поступь* — *пост*модерн, *пост*история, даже *пост*религия. Скоро уж, видно, и наша матушка-литература будет *пост*скриптумом — во всяком случае, то, что мы еще недавно звали ею.

«Эпоха "высокого стиля" закончена, — извещает нас в аннотации к книге Вадима Месяца "Дядя Джо. Роман с Бродским" Андрей Тавров, — литературная иерархия 90-х годов в глазах молодого героя кажется отработанной и музейной... Это вообще книга с новым устройством письма...» Уж что с новым, то с новым — так что доктор филологии и поэт, земляк Месяца по Екатеринбург у Юрий Казарин только и мог воскликнуть на обложке: «Ну ни фи́га себе! Сказал я себе:)». «Музейной» стала не одна иерархия 90-х, а вообще литература «высокого стиля». Бедный «высокий стиль» заключили в иронические кавычки и исключили из обихода, с порога начертав на знамени

обложки 18+ как знак новой общности «посвященных», как издалека ободряющий пароль: «свои!». Да и каким языком прикажете писать мир «сексуальных оторванцев, ангелов и стерв — по-босховски жуткий мир человеческих отношений», который являет Лера Манович в книге «Рыба плывёт» или Михаил Елизаров в своей «Земле» — долгом романе о смерти, о кладбищенском бизнесе, представленном так подробно, хоть свое ИП или кооператив открывай. Вся жизнь героев замешана на крутом мате, который тоже постепенно становится «землей» русской жизни. Даже и сама смерть является в какой-то злой наготе, словно «свободное общество» видит ее впервые и отшатывается, как от чего-то бесстыдно вторгшегося в удобный порядок, где и ей отведено законное рыночное место, а она попирает свободный разум. Можно понять мат Захара Прилепина в его книге о Донбассе («Некоторые не попадут в ад») — реальность так зла, что не до выбора выражений, хотя, догадываюсь, что солдаты и офицеры «Севастопольских рассказов» Толстого тоже не чинились в выражениях, а он вот как-то обошелся. Ну, да что возьмешь со старика с его «высоким стилем».

Но когда начинается «спорт», матерный «воркаут», скажем, у Андрея Аствацатурова, когда выходишь из книги («Не кормите и не трогайте пеликанов») с нежеланием жить в навязываемом тебе мире, или когда мат для автора книги «Добыть Тарковского» Павла Селукова становится художественной забавой: «Вам какого Тарковского? Арсения? Или Андрея? Б..дь! Их двое. Я о..ел» (а что? цитировать так цитировать!). Как демократично, обаятельно и как мигом сближает автора и читателя...

Тут бы уж сразу хорошо пустить фейерверк таких «существительных» и «глаголов» из Вадима Месяца, Тимура Кибирова, Ксении Букши, когда герои не ругаются этими «глаголами», а просто и иногда даже счастливо «разговаривают» ими. Но что позволено Юпитеру прозы, увы, не позволено Быку критики, хотя бы этот Бык был тем же переодетым Юпитером. А, право, было бы хорошо без церемоний сказать о сочинителях, как они о героях, да вот жаль — это было бы уже совершенным окончанием даже не «высокого стиля», а вообще литературы. Эх, ну и ладно. Нельзя так нельзя. Тем более я ведь и хотел поговорить об общих тенденциях,

которые увиделись при чтении длинного списка «Ясной Поляны», да вот сразу и не удержался. Простите.

А тенденции и правда определяются всё отчетливее. О некоторых я уже говорил пока разведывательно в прошлых статьях и теперь уже с уверенностью скажу, что в прозе все чаще побеждает «цифра» и «селфи», как у нарочно поминаемого мною чаще других Вадима Месяца, который делает это «селфи» с одинаковым блеском на фоне родного «Е-бурга» и Америки и даже на фоне «дяди Джо» — Иосифа Бродского. («Я могу забыть что угодно. Забыл детство, родину, призвание (хватит, пописали Родину с большой буквы — В. К.). Могу декларировать любую чушь, сложив пальцы крестиком. От моей болтовни ничего не изменится. «Все равно она вертится»). При такой «забывчивости» легко посмеиваться в лицо «высокому стилю»: «Мне было легче, чем Бродскому. За место в литературе я не волновался. Литературу в ее нынешнем виде не принимал всерьез. Я вообще мало что принимал всерьез, благодаря чему неплохо сохранился на шестом десятке».

А в пару ему, прямо след в след, хорошо бы поставить Алесю Петрову-Казанцеву («Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно»), чтобы прямо с названия окунуться в веселую, вполне фейсбучную отвязную болтовню без умолку о себе в купальнике и без. И какая была бы сразу от обоих поддержка еще и Арине Обух с ее такой же счастливой студенческой болтовней о родном вузе («Муха имени Штиглица»). А там, глядишь, к ним подсел бы Шамиль Идиатулин («Бывшая Ленина»), чтобы, пока «серверы висят» и пока «на улице некузяво», а из динамиков «тянется реликтовый медляк», пить с Алесей и Ариной «пивасик под футбол», раз все равно тянется информационный век и недвижимое «время вотсапов и телеграмм-каналов и все всё знают». Тут и читатель должен быть с «пивасиком под футбол», чтобы уж вместе так вместе.

Не придерешься ни к автору, ни к героям — что поделаешь? — время «такое». А я вдруг заметил про себя (слава богу, живу долго — было время «заметить»), что в России давно время «такое», что на него чего хочешь можно валить. Только чтобы не сознаться, что это мы сами делаем это время «таким». Не зря Идиатулин зовет жанр своей книги «актуальным романом» —

явилось в героях нынешнее компьютерное человечество как основное население страны. И не зря героиня романа — мусорная свалка как портрет страны переполненных мусорных баков, идей, чиновничьих забав, гибели над обрывом. Знание материала автором совершенно, материал по-собачьи послушен ему — отчего особенно больно. А как отворотится автор от чиновничества, у которого, когда надо за что-то отвечать, «серверы виснут» и «картриджи лысеют», и просто повернется к живым бабам и детям, так явятся в прозе чудо и чудо. Каждого обнимет душой и живет, как дома, — не оторваться. Жаль только, что «такое время» то там, то тут торопится напомнить о себе, чтобы, сохрани бог, не позволить автору впасть в доброе старое реалистическое письмо.

В сущности, если и каждую книгу прочитать терпеливо и бережно (да только где набраться терпения равно критику и читателю, когда обе стороны с утра «ВКонтакте» или «Фейсбуке?»), с радостным и пугающим изумлением почувствуешь, что в каждом авторе будто два человека теснятся, два автора: один умный и иронический бежит за реальностью дня и умеет ловко раскусить своих головастых героев и посмеяться над ними, а другой всё немного отстаёт и тоскует по человеческой простоте и долгой живой дали «высокого стиля». Только побеждает все чаще первый — из соцсетей и «контактов». Будто автор ни на минуту не забывает осмотреться, как он выглядит перед читателем — не «подставился» ли где, достаточно ли ироничен и умен, словно книжка ещё пишется, а уж автор думает — на какую бы премию её представить и кто будет в жюри читать её, и немножко для этого тонкого жюри её сразу и пишет: «Оцените, ребята, тонкость стиля, профессиональное чутьё, тайные рифмы судеб».

Вот нарочно три-четыре примера. Тимур Кибиров оставил поэзию, чтобы наконец выговориться «по полной» и о самой поэзии, и о родной истории, мысли, литературе. И поиграть, поиграть: «Хорошая фамилия для развратного фашиста — Мессалини, крымско-татарский красавчик — Дориан Гирей. Украинский композитор — Вагнерюк. Белорусский драматург — Бомаршевич. Поэт электронной веры — Чатский, или Майк Россофтский» (ведь и правда чудно, смешно и стыдно утаить эту игру слов,

потому что она уже не одному тебе принадлежит). И всё сочинение («Генерал и его семья») вышло счастливо свободным, ироническим с единственным, кажется, по-настоящему положительным героем — этим самым генералом, который, однако, в конце извержен из жизни «свободными людьми», ищущими кто Израиля, кто просто права быть отвязанными. Ненависть к Софье Власьевне (кто постарше, помнит, что мы так звали на кухнях советскую власть) пересиливает всякую объективность, хотя автор старается нарочито не марать ее, уверенный, что она сама себя подставит. Ну, и герои соответственные, «потерпевшие от Софьи Власьевны» — Дмитрий Пригов, Сергей Гандлевский, Александр Невзоров — все свои, со своими судьбами, чтобы было убедительнее — исповедь же (и о себе с иронией: «Я глубоко поверхностный человек»). Только генерал, кажется, выдуман, соткан из лучшего в том времени, чтобы было с чем бороться.

А вышло все-таки при всей внешней исповедности кокетливо, чуть на публику, но и вместе невольно чуть печально, как на глазах ускользнувшая, по его разумению, «украденная у него жизнь», а по мне так просто пропущенная самим героем за идейной беготней и за жалостью к себе. И на последних страницах будущее не отчетливее, потому что они сопротивлялись «Софье Власьевне», не думая, что поставить на ее место, и вот оказались в пустыне. Вышел портрет времени в зазоре, в прочерке, в нежилой паузе. Им и в голову не приходило, что они просто сопротивляются самому феномену государства как удерживающей силе, такими же невольниками которой были цари, Ленин, Сталин, Горбачев с Ельциным и нынешнее руководство. Оказалось, что достигнутая «свобода» только подчеркнула неизбежную закономерность связанности, которую надобно добровольно принять и управлять в душе, чтобы государство было не помехой и гнетом, а формой разумного удержания нравственных границ жизни. Да только кто об этом будет думать, пока силы играют и хочется «по своей воле пожить». Ну вот и живем сейчас, никто над нами не властен, а счастье еще дальше, чем прежде. Книжка вышла «дневниковая», немного розановская, пестрая и глядит ворохом мыслей, не связанных строгим сюжетом. «Выговорился» — авось хоть от этого станет полегче.

А Алексей Макушинский в своем «Предместье мысли» пустился в преследование близкой нашему дню по духовному напряжению, излому русской домашней и эмигрантской мысли, кипевшей в России перед революцией и тотчас после нее. Отправился на поиск истины на религиозно-философских путях рушащегося мира. Тоже хоть сразу после Кибирова печатай, прямо с запятой, не найдешь щели — те же поиски свободы, взглядывание в пошатнувшееся православие, ненависть к Союзу, задыхающаяся цитатность и при всей иронии горькая усталость от повторительной бессмысленности мира. Тут хоть всё выписывай. Читатель может при нынешних тиражах не найти книгу, поэтому я и сделаю несколько обширных выписок, потому что мысль-то касается всех нас:

«...только не смей всерьез задумываться о мире и Боге, а если вдруг задумаешься, то, главное — не говори никому. Это позиция ироническая, потому выигрышная (ироническая позиция всегда выигрышная); рядом с ней всё кажется наивным, следовательно, смешным (прямо правило для молодой литературы: учитеесь, ребята, и всегда будете в выигрыше — В. К.). Ну куда вы со своим смыслом, своей бессмысленностью, своей истиной (или, не приведи господь, Истиной...); вы что, еще не проснулись? Вы проснитесь и повзрослейте, посмотрите вокруг себя: уже давным-давно никто не говорит ни о какой истине, но все говорят о денотатах и коннотатах; а что до ваших страданий, ваших криков отчаяния, то это не к нам, это к психоаналитику, соседняя дверь».

Страница за страницей — мысль кружится и делается все горше: «Философические утешения оскорбительны, религиозные утешения оскорбительны еще более. Ни одна теодицея не работает. Смысл истории? Смысл замерз под Магаданом, задохнулся в Освенциме... Всё это пустая пошлая болтовня: Бог-де зла не хочет, страдания тоже не хочет, он только, видите ли, допускает их, чтобы не ограничивать нашу свободу (свободу строить газовые печи). Это писали, увы, и Бердяев, и Маритен. Бог, писал Бердяев, «терпит зло, не уничтожает его насильственно, а лишь пользуется злом для целей добра».

Как же, как же. Расскажите это Варламу Шаламову...»

А «вывод» и вовсе горек — уже не просто «высокий стиль», а сама сакральная культура необратимо угасает. И остается с горечью признать, что «искусство в своей вопиющей ненужности, бесстыдной бесцельности — вечная противоположность всякой идеологии (религиозной, революционной) ... Там, где начинается одно, другое заканчивается. Музы не уживаются ни со Святой Троицей, ни со Священным террором. Эвхаристия не уживается с Эвтерпой. Мадонна и Мельпомена никогда не смогут договориться... Вольное искусство, не служащее никому, означает конец сакральной культуры».

Отчего и самому Макушинскому приходится, холодно вато простившись со своими товарищами по «философической прогулке», как он определяет жанр своей книги, оставлять философию и религию для «бесцельного» искусства.

Да и то — начни всерьез говорить о нынешней реальности, не защищаясь иронией, только закричишь, как Канта Ибрагимов в своем горьком романе «Стигал», герой которого пишет в дневнике: «...я считаю: весь мир, точнее, наша страна, возвращается в лоно крепостничества, и даже не осовеченное крепостничество, а в еще более ужасное — рыночное крепостничество, когда главное в жизни — это деньги и только деньги... Нет боли и сострадания, нет мысли о завтрашнем дне». Немудрено, что на вопрос, где он хотел бы жить: в «СССР или современной России», герой говорит, что еще вчера отдал бы предпочтение современной России, «а сегодня, когда уже столько лет как нет СССР, я скажу — не хотел бы жить ни там, ни там... И, как ни странно, когда я общаюсь со своими ровесниками, то они постоянно с ностальгией вспоминают прошлое...»

Эта нота при неприязни к «Софье Власьевне» слышна и в «дневнике» Кибирова, да, кажется, и у большинства авторов, будто писали два автора из двух разных возрастов — с иронией один и с печалью другой. Евгений Чижов вон и весь свой роман назвал «Собиратель рая», и там ностальгия пронизывает каждую страницу и оказывается тем драматичнее, что это ностальгия по раю, которого не было, и герой, «Король блошиного рынка», забывает свой дом прошедшим и, как его несчастная матушка с болезнью Альцгеймера, давно живущая в прошедшем и каждый

день теряющаяся в нем, тащит в уже задыхающуюся квартиру все новое прошедшее, словно и сам медленно теряет память и исчезает из стоящего на дворе времени и самой жизни, пока и читатель не почувствует, что тоже необратимо теряет память. За дневник ухватывается и Михаил Попов («Лопухи и лебеда. Современные записки») и уже не «переодевается» в героя, а так и валит сам что думает и не стесняется, что порой мелковат, приоткрывает нам «кухню» своей мысли и стиля, а нам уж «в гостиную» хочется, чтобы побольше увидеть и порасширить горизонт авторской повседневности. Ан нет, всё ограничивается днем, время перестало быть длительным, и умнее всех тот, кто реагирует на реальность и слово сию минуту, пока они «не испортились».

День и правда теперь так сократился, что его только на «цифру» и хватает, а дневник — это ведь и есть «цифра» и «селфи», фотография дня без обобщения и дали. К тому же реальность стала так ненадежна и эфемерна, что поневоле хочется «подтвердить, ощупать себя» — сам-то реален ли... Утешаешься тем, что, теряя глубину, книги становятся умнее и информативнее — нет-нет, подвигай к себе «Гугл» или «Яндекс» и выглядывай в Википедии: о ком это и что за явление? А уж техника письма и вовсе явлена во всем блеске. Литература уже не скрывает, что она литература, ведь разговаривает со своими и о своем. Будто при чтении автор тебе через плечо заглядывает: ну, понял? И как я тебе? И это даже не от щегольства, а просто литература вошла в ряд человеческих дел, и она уже не просто зеркало времени, а и сама не последнее дело. Да ведь и читатель сам давно писатель — сядет в свои «сети» за комментарии, и только держись!

А захочешь «старой», настоящей, не литературной жизни, так тебе явятся такие книги и герои, то уж и не рад будешь, как при чтении «Политического животного» Александра Христофорова, чьих героев действительно кроме как «животными» и не назовешь, — такую хватку при контроле бизнеса и власти они являют, что слово «человек» само на язык не попросится. А «Немой набат» Анатолия Салуцкого и вовсе страшно читать. Подлинно «набат» о том, как новые элиты уже сейчас готовят «транзит власти» к 2024 году в пределах Садового кольца, чтобы отсечь коренную Россию и успеть разобрать портфели будущей

постпутинской администрации. Но набат подлинно немой — никто не хочет слышать: а-а, опять политика... Ну-ну, отворачивайся, только не сетуй потом, что «время такое».

Так домашешься рукой, что кончишь заложником «Московской стены», как назвали свой роман Петр и Ольга Власовы. Я вон смущался, что у нас теперь через книгу «хорроры» и «фэнтези», а тут вот они даже сошлись в одном романе — и хоррор, и фэнтези. Сначала Россия погибла от разобщения и обжорства, распалась на именующие себя суверенными государствами банды, а потом вмешалась Европа, чтобы спасти «свои» газ и нефть и, захватив под свое командование Москву и отрезав ее непреходимой стеной от остальной России, основать иллюзорную Сибирскую республику, чтобы она и добывала потом эти необходимые Европе газ и нефть без хлопот о национальной идентификации.

Конечно, нашлись ребята, верящие в Россию и начавшие борьбу за ее исцеление, прошли под землю в Кремль, где уже сидели интервенты, и повязали их, да уж что они могли, когда при падении Стены стали искать своей доли «республики» в Нижнем Новгороде, Юрьеве-Польском, а там еще и просто банды и разгулявшаяся смерть. Так что где уж в этой свалке найти идею для того, чтобы человек стал достоин замысла Бога о нем? И книжка бьется в поисках объединительной мысли и становится так страшно плотна и безжалостна к читателю, что скоро отошлешь ее к мысли Макушинского, что смысл истории замерз в Магадане и сгорел в печах Освенцима и сделанное нами со своей историей необратимо. Но книжка не сдастся Макушинскому и все будет оставаться книгой-мыслью, книгой-метанием, почти без плоти, хотя и тут есть и любовь, и надежда, но всё подавляет мысль, так что книжка как писалась девять лет, так и для чтения требует такого же напряжения и такой дали. Нет, надо остановиться — всех книг, представленных на «Ясную поляну» не перечислишь.

И по избранным работам видно, что зеркало как зеркало. Хочешь не хочешь — отражайся. А уж сетовать или приветствовать — это дело личное. Тут теперь никто никому не указ. Критику как институт можно отсылать в архив вместе с ее матушкой национальной идеей. Когда умирают сакральное искусство и «высокий стиль», остается «постскрипtum» — после написанного.